

РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ XVIII ВЕКА

М. Тихомиров

В русской историографической литературе обычно преобладал тип небольшой монографии, посвящённой тому или другому историку. Общих работ по русской историографии, пытавшихся осветить развитие исторической науки в России на большем протяжении времени, было мало, да и эти работы отличались явной неполнотой и ещё более явной тенденциозностью. Поэтому появление книги проф. Н. Л. Рубинштейна «Русская историография» тотчас же привлекло к ней внимание наших историков. Нет никакого сомнения, что труд Н. Л. Рубинштейна восполнил большой пробел в нашей исторической литературе и в настоящее время является единственным пособием по русской историографии, правда, несколько громоздким для занятий в высших учебных заведениях (41,5 печатного листа), но, во всяком случае, достаточно полным. Автор проделал громадную работу и свёл воедино обширный и разнообразный материал, изучил почти всю основную литературу, относящуюся к русской историографии, и таким образом оказал немалую пользу нашей исторической науке.

Книга Н. Л. Рубинштейна вышла в 1941 г. и по обстоятельствам военного времени осталась вне критического рассмотрения. Между тем в ней имеются такие положения, которые представляются не только спорными, но и прямо неверными, в первую очередь в оценке историографии XVIII века. Нельзя сказать, чтобы Н. Л. Рубинштейн уделил русской историографии XVIII в. недостаточное внимания. Раздел II «Русская историческая наука в XVIII в. Превращение исторического знания в науку» занимает в книге 138 стр. (51—188). Если даже исключить из этого раздела главу о Карамзине, попавшую в историографию XVIII в. по явному недоразумению, то всё-таки останется 116 страниц печатного текста, на которых рассматривается историография XVIII в., — объём, равный небольшой монографии.

Как же отражена историография XVIII в. в книге Н. Л. Рубинштейна? Текст в книге разделён на 8 глав, которые названы именами видных историков XVIII в.: Татищев, Ломоносов, Миллер, Щербатов, Болтин, Шлецер, Карамзин. Только 3-я глава, являющаяся вводной ко всему разделу, называется «Начало нового исторического этапа».

Деление русской историографии на отдельные периоды по крупнейшим представителям исторической науки не является новым. Так примерно построил свою статью «Писатели русской истории XVIII века» С. М. Соловьёв. В таком способе деления историографии есть свои удобства для авто-

ра и для читателей. Каждый крупный историк предстаёт перед нами целостно как своего рода историографическая единица. Но в таком делении есть и свои неудобства: вместо историографии, т. е. изучения развития исторической науки в целом, мы получаем понятие только об отдельных крупных представителях науки. Отсюда неизбежен известный разрыв между деятельностью того или другого историка, как это изложено в книге Н. Л. Рубинштейна, с окружающей данной историка эпохой. Некоторая неминуемая статичность изложения взглядов того или иного историка, неизбежная при способе распределения материала в книге Н. Л. Рубинштейна, ещё более усиливается от того, что и в пределах главы, трактующей о том или ином историке XVIII в., автор распределяет материал главы по какой-то собственной схеме. Вот, например, перед нами глава о Татищеве. Она делится на следующие параграфы: «Формирование исторических взглядов Татищева. Основы мировоззрения Татищева. Исторические воззрения Татищева. Исторические труды Татищева. Введение и его содержание. Общие вопросы русской истории и её изучения. Вопросы источниковедения у Татищева. Вопросы этнографии. Историческая география. Вопросы хронологии и генеалогии. Изложение конкретной истории России. Историческое значение работ Татищева». Нетрудно заметить, что при таком способе изложения историческая деятельность Татищева представится перед нами как что-то раз навсегда законченное; точно исследователь разложил перед собой труды Татищева и стал их изучать со всех точек зрения, только не с точки зрения того, что взгляды и труды В. Н. Татищева не сразу выдупились словно из яйца, а складывались постепенно, изменялись и эволюционировали. В результате такого построения книги взгляды того или другого историка XVIII в. на прошлое России излагаются в отрыве от той среды, в которой они развивались, — скажем больше, в отрыве от тех обстоятельств, среди которых они складывались.

В подтверждение наших слов приведём следующий пример. Н. Л. Рубинштейн сам указывает, что в поле зрения историков XVIII в. особенно часто стояла проблема о происхождении Русского государства, но не объясняет, почему эта проблема была столь актуальной в XVIII столетии.

Конечно, вопрос о начале Русского государства занимал ещё древнерусского летописца, спрашивавшего: «Откуда есть пошла Русская земля?» Однако русская историческая и политическая мысль до середины

XVIII в. не придавала большого значения тому, что первыми князьями, по летописи, были варяги. Этот вопрос получил неожиданную остроту в середине XVIII в., и запальчивость Ломоносова в борьбе его с немцами-академиками ничего общего не имела с запальчивостью учёного, обиженного тем, что с его взглядами не соглашались. Остроту вопросу с начала Руси придал не Ломоносов, а как раз немцы-академики. Это связано было с крупными политическими событиями первой половины XVIII века.

Как бы ни расценивать время Анны Ивановны, царствование её было эпохой господства немцев при дворе и в русской политике. Убийственную характеристику господства немцев и политики Анны Ивановны сделал в своё время В. О. Ключевский: «Бирон с креатурами своими не принимал прямого, точнее, открытого участия в управлении: он ходил крадучись, как тать позади престола. Над кучей бироновских ничтожеств высились настоящие заправилы государства, вице-канцлер Остерман и фельдмаршал Миних». В. О. Ключевский ярко рисует, как дорого обошлась России «фаушернада... дипломатических дел мастера Остермана и такого же военных дел мастера Миниха с их единоплеменниками и русскими единомышленниками»¹.

Отметим здесь же, что Бирон и его сторонники вовсе не смотрели на себя как на сановников великой Российской империи, преобладающее население которой составляли русские и украинцы. Нет, они действовали не только «крадучись, как тать позади престола», а выступали с воинствующей программой долгого утверждения немецкого засилья в России. Характерный случай произошёл в 1735 г., когда Татищев подал в Петербург своё мнение о необходимости перевода немецких названий горных чинов на русский язык. По словам Татищева, Бирон «так сие за зло принял, что не однажды гопаривал, якобы Татищев — главный злодей немцев»².

Как видим, Бирон очень близко принимал к сердцу даже такие мелкие и вполне обоиманные мероприятия, как перевод немецких слов на русский, несколько не считаясь с тем, что всё его богатство было построено трудом русского народа, а сам он был только презренным фаворитом престарелой и грубой императрицы.

Удивительно ли, что особый интерес к «варягам» был проявлен среди академиков, приглашённых из Германии в Россию самозванными «варягами» XVIII века. Для выезжих немецких учёных доказательство того, что восточные славяне в IX—X вв. были сущими дикарями, спасёнными из тьмы невежества варяжскими князьями, были необходимы для утверждения их собственного господства в той стране, народ которой имел свою давнюю и великую культуру. И немцы-академики немедленно приняли за дело, заказанное им вельможными немцами-сановниками. Среди выезжих академиков

особенно выделялся Байер. И, надо прямо сказать, параграф, посвящённый деятельности Байера в России,—самый неправильный по своим выводам во всей книге Н. Л. Рубинштейна. Перед нами совершенно неприкрытый восторженный отзыв о Байере. «Строгость научной критики, точность научного доказательства, настойчиво проводимые Байером в его исследованиях, выражены им в яркой формуле, резко подчёркивающей разрыв с баснословием предшествующих историков, с вольным перекариванием прошедшего» (стр. 96).—восхищается Н. Л. Рубинштейн достоинствами трудов Байера. Какие же труды написал Байер за десяток с лишним лет, проведённых им в России? Н. Л. Рубинштейн приводит их список, из которого видно, что Байер, в сущности, писал небольшие экскурсии по истории скифов, а также об известных скифиднавских сар и Константина Багрянородного о Руси, причём все эти труды были пропущены одной целью: доказать, что настоящими устроителями Русского государства были пришлые варяги, без которых, по мнению Байера, не было бы и Русского государства. В чём же выразились великие достоинства Байера, о которых пишет Н. Л. Рубинштейн, на чём он показал «строгость научной критики, точность научного доказательства», об этом автор русской историографии умалчивает. Поэтому мы на одном примере попытаемся ответить за проф. Н. Л. Рубинштейна.

Известно, что Байер не знал русского языка, хотя, по словам Н. Л. Рубинштейна, и был «крупный лингвист, знаток древних и восточных языков, знавший: греческий, латинский, санскритский, китайский языки. Спрашивается: почему же столь великий филолог не пожелал изучать одного только языка, языка той страны, которая его вызвала для распространения в ней просвещения, одним словом, почему Байер не изучил только русского языка? Ответим: потому, что он был бездарным и малоразвитым воинствующим немцем, с отсутствием настоящего интереса к науке и её задачам, вне того узкого смрадного «академического» угла, где наука выступает не гордой богиней, а чёрной кухаркой «за всё». А насколько велика была «строгость научной критики» Байера, видно из того объяснения, которое он дал названию «Москва», производя его от названия «мужской» (монастырь). Перед нами так и рисуется тупоумная физиономия «крупного» лингвиста, для которого одинаково звучит и «Moskau» и «Musik» «мужской». Байер отказывался учиться русскому языку «не по какой-то странной прихоти»³, как писал в своё время К. Бестужев-Рюмин, а по той же самой причине, по какой Бирон не желал переводить немецкие названия на русский язык. Так называемая норманнская теория призвания Руси с самого начала не была простой теоретической проблемой, а знаменем воинствующих немецких придворных кругов, и служила сугубо политическим целям. Вот почему в лагере норманистов последовательно оказываются и Байер и Шлецер; вот почему Татищев, как указы-

¹ Ключевский В. «Курс русской истории». Ч. IV, стр. 394—395, 398.

² Попов Н. «В. Н. Татищев и его время», стр. 201—202. М. 1861.

³ Бестужев-Рюмин К. «Русская история», стр. 209. СПб. 1872.

вает и Н. Л. Рубинштейн, излагает взгляды Байера на начало Руси, не соединяя их со своими. Как иначе мог поступить Татищев, когда его «История» была встречена в Петербурге крайне холодно и начало следствия о злоупотреблениях Татищева подозрительно совпало с делом Артемия Волянского и представлением в Академию татищевской «Истории Российской»? Во времена Бирона иного и не могло случиться. Если бы проф. Н. Л. Рубинштейн с высот науки потрудился бы спуститься на землю, он тотчас нашёл бы объяснение поведению Татищева и позже — поведению Ломоносова в действительности первой половины XVIII века.

Тогда и оценка исторических работ Ломоносова была бы существенно иная, чем её сделал Н. Л. Рубинштейн. Автор русской историографии буквально расправился с величайшим русским учёным XVIII в.: «Самое изложение Ломоносова показывает, насколько он был далёк в своей истории от критического духа «Истории Российской» Татищева... Основной текст «Истории» Ломоносова представлял лишь литературный пересказ летописи, своеобразную риторическую амплификацию её текста с некоторыми попытками её драматизации» (стр. 90).

Таков строгий приговор, вынесенный автором русской историографии поморскому мужику, который, по выражению Некрасова, «стал свободен и велик». И это написано в главе «Ломоносов. Два направления в русской истории». Именно в этой главе находим восторженную характеристику Байера. Итак, два направления русской историографии: «строгий научный» критик Байер, не знавший и не желавший знать русского языка, с одной стороны, Ломоносов, истинный создатель литературного русского языка, оказывающийся далёким от критического духа даже его преемственников, с другой.

Акад. Б. Д. Греков основательно показал, какой большой исторической подготовкой обладал Ломоносов. В отличие от Байера наш великий учёный начинал русскую историю не с момента призвания варягов, а с древнего времени. Его замечания о ранней истории славян и их предках — антах — поражают своей новизной. Если эта новизна казалась С. М. Соловьёву странной, то только потому, что во времена Соловьёва никто серьёзно не занимался вопросом этногенеза славян. Вот почему та часть сочинения Ломоносова, которая носит название «О России прежде Рюрика», имеет для нас интерес и в настоящее время. Ломоносов всегда стоял на передовой линии русской науки, он шёл в огонь, туда, где было особенно опасное место. Нет, не запальчивость или неуживчивость втягивали его в борьбу с немцами-академиками, а великая и благородная гордость русского человека, который во времена немецкого господства в официальной русской науке уже пророчески предвидел, что «может собствнных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать», доказывая это своим собственным примером.

Неверные предпосылки Н. Л. Рубинштейна привели его и к другой крупной ошибке: помешали ему правильно оценить значение

того или иного историка. Осудив Ломоносова за его недостаточные знания в области источниковедения, Н. Л. Рубинштейн указывает, что за большую источниковедческую работу «принялись лучшие представители исторической науки XVIII в. в России в лице Байера, Миллера, позже Новикова, Щербатова и др.» (стр. 92).

В этой фразе свалены в общую кучу самые разные деятели исторической науки XVIII века. Нет никакого сомнения, что Байера и Миллера никак нельзя поставить на одну ступень. Мы видели, что собой представляли «труды» Байера. Герард Фридрих Миллер по своему направлению вовсе не принадлежал к тем немцам, которые смотрели на Россию как на своеобразную кормушку, где каждому ловкому и мало-разборчивому иностранцу обеспечен «стол и дом». Миллер связал свою жизнь с новой родиной и оказал немаловажные услуги русской исторической науке. Только настоящий научный энтузиазм мог заставить Миллера десять лет провести в Сибири. Он чуть было не ослеп, работая в сибирских архивах во время долгой зимней ночи, при плохом освещении. Деятельность Миллера — несомненный этап в русской историографии, но этап очень своеобразный. В сущности, обобщающих исторических трудов после Миллера осталось мало, а его «История Сибири» только недавно увидела свет в своём настоящем виде. Миллер был по преимуществу археолог, — так его и следует рассматривать. Для археологии он оказал чрезвычайно важные услуги, но ставить его вровень с Татищевым, Щербатовым и Ломоносовым мы не можем. Названные нами историки ставили своей задачей написать историю России в целом, тогда как Миллер работал только в узком кругу изучения, собирания и публикации источников, и даже его «История Сибири» не увидела свет именно потому, что она была слишком громоздка для читателей XVIII века. Ставить под одну рубрику Щербатова и Миллера так же неправильно, как деятельность Строева сравнивать с деятельностью Карамзина или Соловьёва. Поэтому мы не можем согласиться с автором «Русской историографии», что исторические труды Миллера «представляют совершенно новый этап в развитии русской исторической науки» (стр. 107).

Деятельность Миллера кажется Н. Л. Рубинштейну новым этапом потому, что он эту деятельность рассматривает статично, а не в связи с общим развитием русской исторической науки в целом. Если в России времён бироновщины выезжие немцы с их учёностью в какой-то мере могли рассматриваться как единицы, которым никто или почти никто в Академии и за её пределами не противостоял, то во второй половине XVIII в., когда развёртывается деятельность Миллера, помимо него работали и другие историки: в 1773—1775 гг. выходила «Древняя Российская Вивлиофика», издаваемая Новиковым, почти одновременно издавалась «История России» Щербатова, выходили отдельные летописи. Очень жаль, что проф. Рубинштейн так мало обратил внимания и на «Вивлиофику» и на различные другие изда-

ния XVIII в., поместив и самого Н. И. Новикова под заголовком «Миллер», хотя Миллера уже не существовало, когда Новиков начал выпускать «Продолжение древней Российской Вивлиофики».

Постоянное смещение воедино всех родов исторического знания привело автора рассматриваемой книги и к совершенно неверной оценке деятельности Шлецера. «Нестор» Шлецера, несомненно, оказал большое влияние на русскую историческую науку. Однако другие его труды по русской истории очень далеки от методов «Нестора». 28 лет от роду Шлецер, тогда ещё плохо знавший русский язык, написал «Опыт изучения русских летописей». Вот тогда-то он впервые и попытался заговорить с самонадеянностью многообещающего, но малоопытного исследователя, «о своей теории русских летописей». Этот ранний опыт Шлецера и представлен в книге Н. Л. Рубинштейна как нечто законченное и предвещающее последующего «Нестора». А между тем «Опыт» и «Нестор» разделены промежутком в 35 лет, промежуток, равным средней человеческой жизни. Спрашивается: неужели Шлецер, молодой профессор, и Шлецер-старик — одно и то же? Сколько событий произошло за 35 лет, не исключая французской буржуазной революции, а для автора русской историографии точно ничего не изменилось! «Нестор» Шлецера относится уже к XIX, а не к предыдущему веку. Неправильно и замечание Н. Л. Рубинштейна, что от Шлецера «отправляются, на него указывают как на своего предшественника и Погдин, и Вестужев-Рюмин, и Шахматов» (стр. 166).

Основным недостатком построений Шлецера являлось его стремление дать «очищенного» Нестора, т. е. восстановить какой-то первый оригинал летописи Нестора, который будто бы был искажён последующими невежественными переписчиками. В этом построении Шлецера сказывалась та школа библейской критики, которую он получил в юности и которой так гордился. Но задачей библейской критики было восстановление правильного библейского текста, как книги, каждое слово в которой рассматривалось теологами в виде божественного внушения. Нечего говорить, что и критика библейского текста, когда скоро она из рук докторов богословия перешла в руки настоящих учёных, получила новые задачи. То же случилось и при применении способов критики библейского текста к русским летописям, памяткам гражданской письменности, потерявшим ряд изменений на протяжении веков не только, вернее, не столько от невежественных переписчиков, сколько от работы летописцев, по-своему понимавших, исправлявших, сокращавших и пополнявших тексты. Взгляды Шлецера оказали существенное влияние на усиление недостатков первых томов Полного собрания русских летописей, издатели которых в определение того, что они стремились «различные буквы и слоги в одних и тех же словах привести в единообразие»⁴, ссылались на Шлецера.

⁴ Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. I, стр. VII. (Предисловие).

Русской науке пришлось длительное время преодолевать ошибки Шлецера, доказывать, что русские летописи — памятник очень сложного характера. Метод А. А. Шахматова не имеет ничего общего с методом Шлецера, так как он основан на тщательном изучении различных редакций летописей, на признании своеобразия этого памятника и на отказе объяснить его особенности только искажениями какого-то первоначального оригинала.

В русской историографии XVIII в. были, в сущности, три крупные фигуры, стремившиеся написать историю России в целом виде: Татищев, Ломоносов и Щербатов. Прямыми продолжателями их дела в начале XIX в. были Карамзин, позже Соловьёв. Как ни велико значение археографической деятельности Миллера, она далеко отстает перед названными нами фигурами. В конце концов «немцы»-академики XVIII в. были неплохими техниками науки, они и оставили свой след в русской исторической науке, но подлинными создателями истории нашей страны были не иностранцы, а русские. Русская историография XVIII в. создавалась русскими руками и для русских. Когда мы от рассуждений Байера повернём в сторону русских историков XVIII в., то мы сразу ощущим и разительную разницу в способах подхода к разрешению проблем русской истории, скажем, у Байера и у Татищева и Шлецера и Ломоносова. Поссорившись с академическим начальством, Байер собрался уехать в свой фатерланд, и только ранняя смерть помешала его отъезду. По-настоящему понимал свою задачу В. Н. Татищев. «История Российская» принесла ему одни неприятности, но он с упорством тратил на неё и время и средства, потому что он работал, по его же собственным словам, «к славе и чести моего любезного отечества»⁵. Недаром же и на титульном листе «Истории», вышедшей в свет много лет спустя после смерти автора, с полным правом было напечатано: «Неусыпными трудами собранная и описанная... Василием Никитичем Татищевым».

Почти то же мы видим позже и со Шлецером. Как только Шлецер получил место в Геттингенском университете, он покинул Россию и занятия русской историей, в которой вернулся только на старости лет. Для него, как и для Байера, занятия русской историей были только этапом в профессорской карьере. Наоборот, для Ломоносова русская история была предметом не отвлечённой науки, но предметом, который должен поддерживать патриотизм русских людей. Отсюда и те замечательные слова, с которыми он обращается к читателям: «Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет, но только вину полагать должно на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели, своих героев в полной славе предали вечности»⁶.

⁵ Татищев В. «История Российская» Кн. I. Ч. 1-я, стр. XVI. М. 1768.

⁶ Ломоносов В. «Древняя Российская история», стр. 3. М. 1766.

Ломоносов прекрасно понимал значение истории для воспитания любви к родине, в создании краткой русской истории видел свою задачу. Можно критиковать «Историю» Ломоносова, но нельзя забывать того, что она долгое время была единственным учебником русской истории, заменившим устаревший «Синописис». Отсюда и тот стиль изложения, который так не нравится Н. Л. Рубинштейну. Но что же делать? Обширные истории Татищева и Щербатова были единственными книгами, откуда мог почерпнуть сведения по русской истории образованный читатель XVIII в., а более широкий круг читателей обращался к краткой истории Ломоносова. Кто же виноват в том, что за весь XVIII в. академики из иностранцев не написали русской истории, хотя и были якобы исполнены всевозможными научными доблестями. Ведь не должен же был русский читатель пользоваться переводной русской историей в сочинении какого-либо Леклерка, так остроумно высмеянного Болтиним.

В книге Н. Л. Рубинштейна имеется и ещё одна особенность, которую нельзя оставить в стороне. Для автора вся русская историческая мысль XVIII в. представляется своего рода филиалом западноевропейской. «Рост связей с Западом, — пишет Н. Л. Рубинштейн, — ускорял также освоение Россией достижений западноевропейской научной мысли» (стр. 60). Поэтому и первый русский историк «нового этапа» исторической мысли, по определению Н. Л. Рубинштейна, В. Н. Татищев представляется ему просто выучеником западноевропейской культуры: «мировоззрение Татищева складывалось прежде всего под влиянием западноевропейской культуры» (стр. 71), хотя и этот выученик оказывается пудачным (стр. 95). Источники мировоззрения Щербатова «Источники исторических взглядов Щербатова» (стр. 121) представляются автору точно так же заимствованными из западной философии.

Теория разного рода заимствований с Запада или Востока, из любой соседней или отдалённой страны, конечно, не нова в нашей исторической литературе уже в силу своей лёгкости и примитивности. Берётся какая-либо залежалая книга малоизвестного автора, и оказывается, что то или иное стихотворение Пушкина или рассказ Толстого совпадают с предполагаемым оригиналом. И дело сделано, заимствование доказано, а между тем сходство тех или иных явлений, а тем более мыслей объясняется не только заимствованиями, но и общей исторической обстановкой.

При Петре I усилились связи с западноевропейскими странами, но процесс появления технических и научных навыков, процесс их утверждения на русской почве не был простым заимствованием ученика от учителя: он был только частью общего процесса распространения технических навыков, накопления знаний и создания новых философских идей во всём тогдашнем культурном мире. Связь России с Западной Европой никогда не прерывалась и до Петра I. Так называемые ереси «стригольников и жидовствующих» в XIV—XV вв., мы-

сли европейской реформации в XVI—XVII вв. находили свой отклик в России.

С опозданием и большей частью в рукописном виде появлялись в России и западноевропейские сочинения по географии, истории и политике. В своё время на значительное количество таких переводов с западных подлинников указал покойный академик А. И. Соболевский. В XVII в. появляются и переводные романы, особенно распространённые в среде мелких дворян и посадских людей. Рассматривать эти явления только как заимствования у Запада, во всяком случае, опрометчиво. Одни и те же сдвиги в общественной жизни России и остальных европейских стран порождали одни и те же явления. Иначе пресловутые заимствования с Запада повисли бы в воздухе, остались бы уделом немногих личностей, а не вошли бы в кровь и плоть широких кругов населения. Русский барин второй половины XVIII в. был таким же аристократом, как и его французский собрат, читал французские книги, перекладывал и другие иностранные языки, умел при надобности сразиться на шпагах, прекрасно танцевал на балах, восхищался езжей «французики из Бордо» своим французским произношением и манерами.

Однако русская жизнь XVIII в. не была простым отражением западноевропейских течений, она принимала свои специфические черты. Например, если знаменитый Посошков высказывал в своих книгах идеи, близкие к меркантилизму, то в его сочинениях найдём и особые черты мировоззрения, свойственные русским авторам XVII века. То же надо сказать о таких писателях, каким был, например, В. Н. Татищев. Этот, по мнению Н. Л. Рубинштейна, выученик западноевропейской науки выступает перед нами как типичный русский дворянин в написанной им «духовной» и в «кратких экономических доверии следующих записках», где помещено и «иррауочение» для прожиточного минимума крестьянина и указание свойств «ленивого» крестьянина.

Н. Л. Рубинштейн, изучивший с большой тщательностью исторические труды Татищева, почему-то не обратил внимания на его другие сочинения, не обратил он внимания и на политическую деятельность Татищева, в особенности на его участие в разработке проектов государственного правления 1730 года. Автор русской историографии повторяет распространённое мнение о твёрдой убеждённости Татищева, что России свойственно самодержавие. Татищев и не мог предлагать никакой иной формы правления в своей «Истории Российской», поданной в Академию в годы тягостного самодержавия Анны Ивановны. Другое дело — его пункты, написанные в памятный 1730 г., в которых высказывалось пожелание о создании сената из 21 члена и нижнего правительства из 100 членов. Этот проект создавал почву для ограничения самодержавия и был высказан тогда, когда во Франции ещё не думали о необходимости собрать даже старые Генеральные Штаты. Мировоззрение Татищева вырабатывалось подобно мировоззрению всех образованных людей в Ев-

ропе первой половины XVIII в. на общей основе, однако самостоятельно, не копируя тот или иной образец.

С ещё большей степенью это можно сказать о Щербатове. Конечно, как образованнейший человек своего времени, М. М. Щербатов был знаком с западноевропейской философией, в частности с сочинениями Юма. Как большинство аристократов XVIII в., князь Щербатов был рационалистом, но значит ли это, что он попросту переписывал сочинения иностранных философов, а не претворял их по-своему, был учеником, а не участником общего движения общественной мысли, развивавшейся в это время во всей Европе, частью которой была и Россия. Странно видеть в книге Н. Л. Рубинштейна главку об источниках исторических взглядов Щербатова, где найдём рассуждения о Вольтере, Кондорсе, Гердере, Гольбахе и т. д., труды которых признаются источниками исторических взглядов Щербатова. Между тем можно было бы поискать и поближе. Ведь Щербатов был крупным политическим деятелем екатерининского царствования, известны его взгляды на роль дворянства в России. «Следуя юмовской методологии, — пишет Н. Л. Рубинштейн, — Щербатов центр тяжести перенёс на конкретный материал» (стр. 129). Но, пожалуйста, заметим мы автору приведённых выше слов, а другие историки XVIII в., скажем, Татищев, да и тот же Байер, не переносили центр тяжести на конкретный материал, или в экскурсах Байера о географии древней Руси центр тяжести положен в рассуждениях, а не в изложении и оценке конкретного материала, или Татищев не дал нам

почти летописное изложение, таким образом перенеся центр тяжести на конкретный материал, почему же там-то вы не говорите о методологии Юма? Потому только, что первые труды Юма появились почти одновременно с написанием «Истории Российской» Татищева, а Щербатов сам упоминает о Юме? Причём тут методология Юма, когда Щербатов мог иметь перед глазами уже большое количество французских, английских и немецких книг исторического содержания, где обращалось главное внимание на конкретное содержание исторического процесса, когда Щербатов и не мог по-иному написать русскую историю, впервые вводя в обиход множество новых фактов, привлекая новые источники, в первую очередь небезоценное море актового материала. Стремление всюду видеть заимствования, послушное следование западноевропейским идеям, заставило Н. Л. Рубинштейна дать, по существу, неправильную характеристику наших историков XVIII века.

Мы позволили себе остановиться на некоторых вопросах, которые представляются нам неправильно разрешёнными в книге Н. Л. Рубинштейна. Целью нашей критики отнюдь не является огульное охаивание громадной работы, проведённой автором, за которым остаётся заслуга написания первой «Русской историографии» с древнейшего времени вплоть до наших дней. Однако нам кажется, что трактовка русской историографии XVIII в. сделана в книге Н. Л. Рубинштейна в значительной мере неправильно, с чем согласен и автор. В новом издании книги Н. Л. Рубинштейна раздел историографии XVIII в. должен быть коренным образом переработан.